

Эмиль Золя Как люди умирают

Граф де Вертэй благополучно дожил до пятидесяти пяти лет. Он принадлежал к одному из знатнейших семейств Франции, и, кроме того, у него было огромное состояние. Порвав с правительством, он на все лады старался заполнить свою жизнь: писал статьи для серьезных журналов (это раскрыло перед ним двери Академии моральных и политических наук), пускался в различные финансовые предприятия, увлекался последовательно сельским хозяйством, скотоводством, изящными искусствами; некоторое время был даже депутатом и отличился среди ораторов оппозиции силой своего красноречия.

Графине Матильде де Вертэй было сорок шесть лет. Она все еще считалась самой очаровательной блондинкой Парижа. С годами ее нежная кожа стала еще белее. Прежде графиня была немного худощава, теперь же ее плечи приобрели приятную округлость, гладкость и манили взор, как зрелый плод. Никогда еще она не была так хороша. Когда она появлялась в салоне, блистая золотым венцом волос, атласной белизной обнаженной груди и шеи, она была подобна восходящей звезде, и даже двадцатилетние женщины завидовали ей.

Отношения графа и графини друг к другу не вызывали никаких толков. Их брак был заключен так, как заключается в светском обществе большинство браков. Утверждают даже, что целых шесть лет они любили друг друга, и за это время у них родилось двое детей — сын Роже, ныне лейтенант, и дочь Бланш, которую в прошлом году они выдали замуж за г-на де Бюссака, докладчика в государственном совете. Теперь супругов объединяли только дети, но и после нескольких лет разрыва они остались добрыми друзьями — правда, с изрядной примесью эгоизма. Они нередко советовались друг с другом, и в глазах света их отношения были безупречны. Но жили они на разных половинах, принимали кого им заблагорассудится.

Однажды графиня вернулась с бала в два часа ночи; горничная помогла ей раздеться и, уже собираясь уходить, сказала:

— Его сиятельству вечером что-то нездоровилось.

— А-а! — лениво протянула графиня, слегка повернув голову, и открыла глаза — она уже успела задремать. Потом вытянулась и добавила: — Разбудите меня завтра в десять часов, я жду портниху.

Утром, видя, что граф не вышел к завтраку, графиня справилась сначала о его здоровье и, наконец, решила подняться к нему сама.

Она застала мужа в постели. Он был очень бледен, но безукоризненно выбрит и причесан. Его уже осмотрели три врача и оставили свои предписания, пообещав приехать еще раз вечером. За больным ухаживали двое слуг. Торжественные и безмолвные, они бесшумно двигались по комнате, — ковер приглушал звуки их шагов. Все в этой огромной спальне дышало холодной суровостью и дремотным покоем. Все было аккуратно прибрано, нигде не валялось скомканное белье, каждый стул стоял на своем месте, — вполне корректная и чинная картина: комната больного, ожидающего визитов.

— Вы нездоровы, друг мой? — спросила графиня, подойдя к мужу.

— О, пустяки! Просто переутомление, — ответил граф. — Мне нужен только покой... Благодарю вас за внимание.

Прошло два дня. Комната была все так же аккуратно прибрана; все стояло на своих местах. Пузырьки с лекарствами появлялись и исчезали, не оставляя ни единого пятнышка на столе. На гладко выбритых физиономиях слуг не было даже намека на тревогу. Но граф уже знал, что он при смерти; он заставил врачей сказать правду и теперь безропотно отдал себя в их распоряжение. Почти все время он лежал с закрытыми глазами, но порой пристально смотрел в одну точку и словно размышлял о своем одиночестве.

В свете графиня говорила, что ее муж немного нездоров. Она ни в чем не изменила своего обычного образа жизни: спала, ела, выезжала — все в свое время. Ежедневно, утром и вечером,

она заходила к графу и справлялась о его здоровье:

— Ну как, мой друг, вам легче?

— Да, благодарю вас, дорогая Матильда. Мне гораздо лучше.

— Если хотите, я могу остаться с вами.

— О нет, зачем же вам утомлять себя? Жюльен и Франсуа ухаживают за мной, этого вполне достаточно.

Граф и графиня прекрасно понимали друг друга. Они жили врозь — и умереть предпочитали тоже врозь. Решив умереть одиноким, граф испытывал горькую радость эгоиста, который не хочет видеть у своего смертного одра досадной комедии скорби. Он старался и ради себя и ради графини как можно более сократить час последнего свиданья. Он хотел одного: уйти из жизни со всей корректностью, подобающей светскому человеку, никого не потревожив и никому не внушив отвращения.

И все же, когда однажды вечером графиня пришла к нему с обычным визитом, он сказал ей:

— Оставайтесь... мне плохо.

Он еле дышал и, чувствуя, что не переживет эту ночь, хотел оградить графиню от упреков света. Графиня давно ожидала этого уведомления; она осталась. Врачи уже не отходили от постели умирающего. Слуги выполняли свои обязанности все с тем же немым усердием. Послали за детьми. Роже и Бланш приехали; оба сели рядом с матерью, возле постели больного. Остальная родня разместилась в соседней комнате. Вся ночь прошла в тягостном ожидании. Утром, отдавая последний долг религии, граф соборовался и исповедовался перед всеми в грехах. Церемония закончилась, теперь можно и умирать.

Но он не спешил. Он словно собирался с силами, чтобы избежать судорожной, некрасивой смерти. В просторной и мрачной спальне его короткое дыхание было чуть слышно, как слабое шипенье испорченных часов. Да, умирающий был в высшей степени воспитанным человеком. Поцеловав жену и детей, он жестом попросил их отойти и только тогда упал на подушки, повернулся лицом к стене и умер. Умер в одиночестве.

Врач склонился над покойником, закрыл ему глаза и вполголоса сказал:

— Скончался!

И сразу же тишину нарушили слезы и вздохи. Графиня, Роже и Бланш опустили на колени. Они плакали, закрыв лицо руками; слез не было видно. Потом дети увели мать, и она, уже в дверях, желая изобразить горе последнего расставания, вдруг зарыдала. И с этой минуты покойник стал лишь объектом пышных похорон.

Врачи ушли, слегка согнув спину и придав лицу приличное случаю скорбное выражение. Бодрствовать ночью у тела пригласили приходского священника. С ним остались в комнате оба лакея; они чинно и неподвижно сидели на своих местах. Настал давно ожидаемый конец их службы. Один из лакеев заметил на столе забытую серебряную ложку; он встал и, очевидно для порядка, быстро засунул ее в карман. Снизу, из большого зала, доносился стук молотков: обойщики подготавливали комнату для установки в ней катафалка. Пришел бальзамировщик; он удалил всех, кроме своих помощников, запер дверь и целый день провел в комнате покойника. На следующее утро, когда тело вынесли в зал и выставили для прощанья, покойник был во фраке, и лицо его казалось юношески свежим.

В день похорон дом уже с девяти часов утра наполнился рокотом голосов. Посетителей принимали в зале нижнего этажа. Сын и зять покойного встречали каждого безмолвным поклоном, как и подобает людям, удрученным скорбью. Собрались все знаменитости: представители дворянства, армии, магистратуры, вплоть до сенаторов и членов Академии.

В десять часов погребальная процессия направилась в церковь. Покойника везли на великолепном катафалке, задрапированном дорогой черной тканью с серебряной бахромой, по углам его колыхались султаны из страусовых перьев. Шнуры покрова поддерживали маршал Франции, бывший министр, академик и герцог***, старый друг покойного. За гробом шел Роже Вертэй и г-н де Бюссак, за ними следовали все остальные — целый поток важных особ в черных перчатках и черных галстуках. Они шли, задыхаясь от пыли и спотыкаясь; на

улице слышался глухой неровный топот, точно брело по ней стадо.

Квартал пришел в возбуждение; во всех окнах появились любопытные; на тротуарах выстроились рядами прохожие и, обнажив головы, провожали взглядом погребальную процессию. Уличное движение было прервано бесконечной цепью траурных экипажей. Почти все они были пусты. На перекрестках произошло скопление omnibusов и фиакров; слышалась ругань извозчиков и щелканье кнутов. А графиня Вертэй заперлась в это время у себя в комнатах, сказав, что не может ехать на похороны, так как очень ослабела от слез. Она лежала в шезлонге и, играя кисточкой пояса, вздыхала с облегченным сердцем и мечтательно смотрела в потолок.

Служба в соборе длилась почти два часа. Все соборное духовенство уже с раннего утра было на ногах. Вокруг то и дело мелькали озабоченные священники в стихарях; они бегали, сутились, отдавали приказания, вытирая потные лбы и шумно сморкаясь. Посередине главного придела, задрапированного черным, сверкал огнями свечей катафалк. Провожающие разделились на две части — женщины налево, мужчины направо; орган испускал жалобные вопли, на клиросе скорбно рокотали басы и баритоны, рыдали звонкие детские голоса; высоким зеленоватым пламенем горели факелы, озаряя мертвенно-бледным светом эту пышную церемонию.

— Как вы думаете, Фор будет сегодня петь? — спрашивал у своего соседа какой-то депутат.

— Думаю, что будет, — ответил ему представительный мужчина, бывший префект, издали улыбаясь знакомым дамам.

— Какова сила! Какая полнота звука! — восторженно воскликнул он вполголоса, когда запел Фор и знаменитая его октава потрясла церковные своды.

Все присутствующие были зачарованы пением. Дамы с легкой улыбкой на губах мечтали о вечерах в опере: «Ах, это Фор! Какой талант!» Один из друзей покойного даже заметил:

— Никогда еще он так не пел!.. Как жаль, что бедняга Вертэй не слышит, ведь он его так любил!

Вокруг катафалка двигались певчие в черном, священники — целых два десятка священников — размахивали кадилами, читали вслух латинские молитвы; потом мимо гроба прошли один за другим все провожающие. Они склоняли головы, кропили покойника святой водой и, пожав руки его родным, выходили из церкви. Яркий дневной свет слепил глаза. Был прекрасный июньский день, в теплом воздухе носились легкие паутинки. На маленькой площади перед церковью была суতোлка. Процессия долго не могла выстроиться в надлежащем порядке. Те, кому не хотелось провожать тело до кладбища, незаметно ушли. Катафалк с колышающимися султанами отъехал от паперти и был уже далеко, метрах в двухстах от площади, а на ней еще полно было экипажей. Со стуком захлопывались дверцы карет, цокали копыта по мостовой. Наконец экипажи выстроились вереницей, и процессия тронулась.

В каретах все чувствовали себя прекрасно! Можно было вообразить, что едешь не спеша по весеннему Парижу, направляясь в Булонский лес. Катафалка не было видно, и поэтому никто уже не думал о похоронах. Завязывались разговоры. Дамы беседовали о предстоящем летнем сезоне, мужчины о делах.

— Скажите, милочка, вы едете в этом году в Дьепп?

— Возможно, но не раньше августа. В субботу мы уезжаем на Луару, к себе в имение.

— Представь, мой милый, муж перехватил письмо, и они дрались на дуэли. О! все кончилось благополучно, легкая царапина... Я в тот же вечер обедал с ним в клубе, и он выиграл у меня двадцать пять луидоров.

— Кажется, собрание акционеров назначено на послезавтра? Меня хотят провести в правление. Не знаю, соглашаться ли, я очень занят.

Процессия уже некоторое время двигалась по аллее. Деревья отбрасывали прохладную тень, в густой листве играли солнечные зайчики.

— О боже! Как здесь чудесно! — вырвалось вдруг у одной из дам, опьяненной прелестью

весны.

Но вот кареты въехали в ворота кладбища Монпарнас. Голоса умолкли, слышался только хруст песка под колесами. Фамильный склеп графов де Вертэй находился в глубине кладбища, налево, и, чтобы попасть к нему, надо было проехать через все кладбище. Огромный склеп из белого мрамора, похожий на часовню, был обильно украшен скульптурой. Гроб поставили у дверей этой часовни, и начались речи.

Выступало четверо ораторов. Бывший министр превозносил политическую деятельность покойного; оказалось, что граф был скромным гением и непременно спас бы Францию от всех бед, если бы не его отвращение к интригам. Затем друг покойного расхваливал его человеческие достоинства и говорил о своей безутешной скорби. Потом выступал никому незнакомый господин в качестве делегата от общества промышленников, почетным председателем которого состоял граф де Вертэй. И, наконец, последним говорил низенький невзрачный человек, выражая соболезнование семье усопшего от имени Академии моральных и политических наук.

Все время, пока произносились речи, провожающие рассматривали соседние могилы, читали надписи на мраморных плитах. Некоторые пытались вслушиваться, но улавливали лишь обрывки фраз. Какой-то старик с поджатыми губами, поймав несколько слов: «...великодушие, благородство и доброта покойного...» — раздраженно пробормотал, кивая головой:

— Да, да! Рассказывай! Я-то хорошо его знал. Такая скотина был!

Но вот речи произнесены; прозвучали последние слова прощанья, священники благословили тело, и все разошлись. И тогда в этом оторванном от всего мира уголке остались только могильщики. Они опустили гроб в землю. Веревки терлись с глухим шорохом о края могилы, дубовый гроб скрипел. Граф де Вертэй сошел в свое обиталище.

А графиня все в той же позе лежала на шезлонге. Устремив взгляд к потолку и играя кисточкой пояса, она вся ушла в мечты, и мало-помалу нежное личико прелестной блондинки окрасилось румянцем.

II

Госпожа Герар овдовела восемь лет тому назад; ее покойный муж был чиновником судебного ведомства. Сама она принадлежала к крупной буржуазии и владела двухмиллионным состоянием. Трое ее сыновей получили после смерти отца по пятьсот тысяч франков наследства. У всех троих невесть откуда взялись страсти и пороки, выросшие в этой суровой и чопорной семье, точно трава на пустыре. Все трое успели быстро растратить, наследственные капиталы. Старший сын, Шарль, увлекся механикой и тратил бешеные деньги на всякие диковинки. Второй, Жорж, разорился из-за женщин. А третьего, Мориса, обобрал друг, с которым он затеял постройку театра. И вот теперь все трое оказались на содержании у матери. Она охотно кормила их и разрешала жить в своем доме, но ключи от шкафов благоразумно хранила при себе.

Вся семья жила в квартале Марэ, в большом домена улице Тюрэн. Г-же Герар было шестьдесят восемь лет. К старости у нее появились причуды: она требовала, чтобы в доме царил полная тишина, чтобы все там было опрятно, как в монашеской келье. Она стала очень скупа, учитывала каждый кусочек сахара и собственноручно запирала в буфет початые бутылки вина; сама выдавала прислуге салфетки, скатерти и посуду. Сыновья, несомненно, любили ее и, несмотря на все свое безрассудство, признавали родительскую власть матери, хотя старшему уже исполнилось тридцать лет; но все же наедине с каждым из сыновей ей всегда бывало как-то не по себе, — она боялась, что они вот-вот потребуют у нее денег, а она не сумеет отказать и даст. Она успокоилась только тогда, когда обратила все свое состояние в недвижимое имущество: купила три дома в Париже и участок земли возле Венсена. И дома и земля доставляли ей уйму хлопот, но зато она могла быть совсем спокойна: у нее теперь всегда был хороший предлог не давать сыновьям крупных сумм.

Шарль, Жорж и Морис старались урвать из дому все что можно. Они бесцеремонно хозяйничали там, ссорились из-за кусочков добычи, попрекали друг друга в прожорливости. Смерть матери вновь должна была принести им богатство, и эта перспектива казалась им вполне достаточным основанием для безделья. Они ждали сложа руки, и их постоянно томило желание узнать, как будет разделено наследство; но они никогда даже не заикались об этом; да, впрочем, к их желанию узнать намерение матери не примешивалась ни одна преступная мысль. Просто им хотелось все предусмотреть заранее, — ведь, если братья не столкнутся между собой, придется продавать недвижимость, а это всегда убыточно. Они были веселые, добродушные и вполне честные люди; и, как все любящие дети, они желали, чтобы мать прожила как можно дольше. Ведь она ничуть не мешала им. Они просто ждали, вот и все.

Однажды вечером, когда вставали из-за стола, г-жа Герар почувствовала себя дурно. Сыновья уговорили ее лечь в постель, и так как она уверяла, что это просто мигрень и ей уже гораздо лучше, они оставили ее с горничной. Но на другой день ей стало хуже, и домашний врач потребовал, чтобы созвали консилиум. Г-жа Герар тяжело заболела. И вот тогда-то у постели умирающей старухи разыгралась драма.

Как только болезнь приковала г-жу Герар к постели, первой ее заботой было забрать и спрятать под подушку все ключи. Она до последнего мгновенья хотела сама управлять хозяйством и защищать от разграбления свои шкафы. Мучительная тревога овладела всем ее существом; всякий раз как нужно было достать что-нибудь из шкафов, она долго колебалась — кому из сыновей доверить ключи. Вот они все трое перед ней; она испытующе смотрела на них угасающими глазами и ждала, что, может быть, вдохновение свыше осенит ее и поможет разгадать их мысль.

То ей казалось, что можно поверить Жоржу, и, подозвав его, она тихо говорила:

— Вот ключ от буфета, поди достань сахару... Да не забудь запереть хорошенько, а ключ принеси мне.

А на другой день она уже не верила Жоржу и со страхом следила за каждым его движением, словно боялась, как бы он не засунул к себе в карман какую-нибудь безделушку с камина. Она подзывала Шарля и, так же как накануне Жоржу, шептала ему:

— Пойди с горничной, пусть она достанет из шкафа простыни; да приглядывай за ней хорошенько. А шкаф-то сам запри.

Больше всего мучило ее то, что она уже не может сама учитывать домашние расходы. Безрассудство сыновей не выходило у нее из головы. Она знала, что все трое — лентяи, обжоры, сумасброды и расточители. Они разбили все ее мечты и на каждом шагу попирали закоренелые ее привычки к строгой бережливости и порядку. Она уже потеряла всякое уважение к ним, и только материнская любовь заставляла ее прощать и терпеть. В ее глазах можно было прочесть мольбу: подождите, не растаскивайте, не делите мое добро, пока я еще жива. Скупая старуха не перенесла бы ужасного зрелища дележа, оно убило бы ее.

Между тем и Шарль, и Жорж, и Морис окружали больную мать самой теплой заботой. У ее постели постоянно находился кто-нибудь из сыновей, и в каждой их услуге видна была искренняя любовь. Но их здоровый и бодрый вид, их интерес к внешнему миру, даже исходящий от них запах сигар невольно ранили больное сердце и эгоизм матери; ей было тяжело видеть, что помыслы ее детей не заняты целиком ею одной. И по мере того как слабели силы больной, возрастало ее недоверие; отношения между ней и сыновьями становились все более натянутыми. До последнего дыхания она пыталась защитить от них свои деньги, и все ее повадки могли бы навести сыновей на мысли о наследстве, даже если бы они и вовсе не думали о нем. Мать пристально смотрела на них таким испуганным взглядом, что они невольно отводили глаза в сторону. А ей казалось тогда, что она поймала их на мысли о ее смерти. Да они и действительно стали об этом думать: ее немой вопрошающий взгляд постоянно наводил сыновей на мысль об этом. Мать сама будила в них чувство алчности. Видя, что сын задумался, она бледнела и спрашивала:

— А ну-ка, подойди ко мне... о чем это ты думаешь?

— Да так, мама, ни о чем, — отвечал сын, но при этом слегка смущался.

Заметив это, мать качала головой и говорила:

— Замучила я вас. Не горюйте, детки, теперь уж скоро.

Сыновья, собравшись у ее постели, клялись, что любят ее и не дадут ей умереть, но она лишь упрямо качала головой и еще глубже замыкалась в своем недоверии. Какая мерзкая агония, отравленная ядом денег!

Болезнь тянулась уже три недели. За это время пять раз собирался консилиум, на который были приглашены крупнейшие светила медицинского мира. Кроме сыновей, за больной ухаживала еще горничная. Но, несмотря на все их старания, в комнатах был замечен некоторый беспорядок. Надежды на выздоровление уже не было. Врач сказал, что больная может умереть с часу на час.

А тут как раз наступило пятнадцатое июля — день, в который мать обычно взимала с жильцов плату за квартиру. Не зная, как поступить, и думая, что мать уснула, братья собрались у окна ее спальни и стали обсуждать положение. Больная слишком слаба, с ней нельзя говорить о делах, а швейцары ее доходных домов уже приходили за распоряжениями. К тому же, если она умрет, на эти деньги можно будет устроить похороны, чтобы не тратиться из наследства.

— Так в чем же дело! Хотите, я схожу поговорю с жильцами? Они войдут в наше положение и уплатят, — вполголоса сказал Шарль.

Но Жоржу и Морису это не понравилось. Они тоже стали подозрительны.

Лучше пойти всем вместе. Нам ведь тоже придется платить за похороны.

— Ну и что же! Я принесу вам все деньги. Может, вы боитесь, что я сбегу с ними?

— Оставь, пожалуйста. Но все-таки лучше пойти вместе. Так будет вернее.

Они смотрели друг на друга, и глаза их уже горели злобой и корыстью. Наследство почти уже было у них в руках, и каждому хотелось захватить побольше. Разговор они вели шепотом, но вдруг Шарль, забывшись, громко воскликнул:

— Слушайте, лучше сразу все продать... Если мы теперь уже ссоримся, то потом и вовсе перегрыземся.

Позади раздался хриплый стон, все трое обернулись. Мать сидела на постели, в лице у нее не было ни кровинки, и, глядя на них диким взглядом, она дрожала всем телом. Старуха все слышала. Она протянула к ним иссохшие руки, испуганно вскрикнув:

— Дети мои... дети!..

И, рухнув на подушки, она умерла с ужасной мыслью, что сыновья замыслили ограбить ее.

Все трое в ужасе упали на колени перед постелью умершей. Они целовали руки матери и со слезами закрыли ей глаза. В эти минуты они опять были только ее детьми, осиротевшими детьми.

Но эта отвратительная картина осталась в их памяти на всю жизнь; в душе у них всегда шевелились угрызения совести и росла ненависть друг к другу.

Между тем все шло своим чередом. Горничная обрядила покойницу, сходили за монахиней, чтобы та всю ночь бодрствовала у тела; братья бегали, улаживая все необходимые формальности.

Надо было дать в газете объявление о смерти, заказать пригласительные билеты на похороны, договориться с бюро похоронных процессий. А ночью они все по очереди бодрствовали вместе с монахиней в комнате усопшей. Занавеси на окнах были спущены. Покойница лежала на постели, вытянувшись, с застывшим лицом и скрещенными руками; на грудь ей положили серебряное распятие. У изголовья смертного ложа горела свеча; в чашке со святой водой мокла веточка букса. Но, едва забрезжил свет, монахиня заявила, что ей не по себе, и попросила горячего молока. Бдение закончилось.

За час до выноса подъезд и лестница наполнились людьми. Ворота дома уже успели задрапировать черной материей с серебряной бахромой, и в них, как в тесной часовне, выставили гроб усопшей, окруженный свечами и утопавший в цветах. Каждый, кто приходил проститься, брал из стоявшей в ногах гроба чаши кропильницу и обрызгивал тело святой

водой. В одиннадцать часов состоялся вынос. Первыми за гробом шли сыновья, а за ними — близкие знакомые: чиновники, несколько крупных промышленников, важные и напыщенные буржуа. Все они двигались размеренным шагом, искоса поглядывая на любопытных, выстроившихся вдоль тротуаров. Процессию замыкали двенадцать траурных карет. Зеваки пересчитывали их, и вообще эти кареты привлекали внимание всего квартала.

Все провожающие тело г-жи Герар сочувствовали горю ее сыновей, а те шли за гробом, опустив голову, все трое в черных сюртуках и черных перчатках, и ни на кого не глядели опухшими от слез глазами. Присутствующие в один голос заявляли, что сыновья хоронят мать вполне прилично. Кто-то стал подсчитывать, во что обошлись им похороны по третьему разряду, — оказалось, не мало: несколько тысяч франков. Старик нотариус с тонкой улыбкой заметил:

— Если бы госпожа Герар сама устраивала свои похороны, она ни за что не заказала бы больше шести карет.

Церковные двери тоже были задрапированы черным; играл орган, приходский священник дал покойнице отпущение грехов. Заупокойная служба окончилась. Провожающие по очереди прошли мимо гроба, прощаясь с усопшей. У дверей сыновья пожимали руку тем, кто не мог идти дальше. Все трое выстроились в ряд и, кусая губы, чтобы не заплакать, стояли целых десять минут; пожимая провожающим руки, даже не узнавая тех, кто с ними прощался. Когда, наконец, все вышли из церкви, им стало немного легче; они опять зашагали во главе похоронного шествия.

Фамильный склеп Гераров находился на кладбище Пер-Лашез. Большинство провожающих шли туда пешком, в экипажи сели немногие. Процессия пересекла площадь Бастилии и двинулась по улице Ля-Рокет. При встрече с катафалком прохожие возводили глаза к небу и обнажали голову. В этом густо населенном квартале живет много рабочих, иные прямо на улицах завтракали хлебом и колбасой, с любопытством глядя на богатые похороны. Прибыв на кладбище, шествие свернуло налево и остановилось перед склепом — у маленькой готической часовни, на фронтоне которой было высечено черными буквами: «Семейство Герар». В широко распахнутую дверь из ажурного чугунного литья виден был алтарь с зажженными свечами. Кладбищенские дорожки тянулись словно улицы, склепы стояли длинными рядами, и застекленные их двери напоминали витрины мебельных магазинов с выставленными на продажу новенькими шкапами, комодами, конторками. Провожающие разбрелись по кладбищу — кто рассматривал памятники, кто укрывался от солнца в тени ближней аллеи. Одна из дам отошла, чтобы полюбоваться расцветшим на могиле розовым кустом, похожим на огромный благоухающий букет.

Гроб между тем опустили на землю, и священник стал читать над ним последние молитвы, а в нескольких шагах ожидали своей очереди могильщики в синих куртках. Братья рыдали, устремив взгляд на зияющую в склепе яму, с которой подняли плиту. Когда-нибудь придет и их черед навеки исчезнуть в этой сырой и мрачной могиле. Друзья увели их, как только приблизились могильщики.

А два дня спустя в конторе нотариуса наследники со скрежетом зубовым и холодной жестокостью во взгляде яростно оспаривали друг у друга каждый сантиметр. Выгоднее было бы подождать с продажей, но они хотели поскорее разделить имущество и в споре бросали друг другу в лицо горькие истины: Шарль опять растратит все деньги на свои изобретения; Жорж заведет любовницу, и она быстро обчистит его; Морис снова пустится в какую-нибудь безумную спекуляцию, которая поглотит все их капиталы. Нотариус тщетно пытался уговорить наследников решить дело полюбовно. Братья расстались врагами, угрожая друг другу судом. Смерть матери, жадной старухи, трепетавшей от страха, что ее ограбят, пробудила в сыновьях те же чувства — страх и жадность. Смерть, отравленная ядом денег, порождает злобу. И тогда люди готовы убить друг друга на могилах своих близких.

Господин Руссо женился двадцати лет на восемнадцатилетней сироте Адели Лемерсье. В первый день их совместной жизни у них обоих было всего-навсего семьдесят франков. Они занялись торговлей. Сначала стояли с лотком где-то в воротах, продавали почтовую бумагу и сургуч для печатей. Потом открыли лавочку, сняв какую-то нору, в которой негде было повернуться, и провели в ней целых десять лет, мало-помалу расширяя свои обороты. А теперь у них уже был настоящий магазин писчебумажных и канцелярских товаров на улице Клиши, цена их торговому заведению — добрых пятьдесят тысяч франков.

Адель не могла похвалиться здоровьем. Она и всегда-то немного кашляла, а спертый воздух в лавке и постоянное сидение за кассой отнюдь не укрепляли ее организм. Врач, к которому обратились за советом, сказал, что ей нужно побольше отдыхать и в хорошую погоду бывать на воздухе. Но если у людей одна заветная мечта — поскорее сколотить капиталец и удалиться на покой, они неохотно следуют таким советам. Адель сказала, что отдохнет и нагуляется потом, когда они продадут магазин и уедут жить в деревню.

Господин Руссо очень тревожился, замечая, что его жена бледнеет, а на щеках у нее горят красные пятна. Но у него было торговое дело, и не мог же он постоянно следить за женой, заботиться о ее здоровье. Случалось, что у него по целым неделям не бывало свободной минутки, даже некогда было спросить: «Как ты себя чувствуешь, Адель...» Но иногда, услышав отрывистый, сухой кашель жены, он заставлял ее закутаться в шаль и вез прокатиться в Елисейские поля.

Прогулка только утомляла Адель; возвратившись домой, она кашляла еще сильнее. Но г-н Руссо снова с головой уходил в дела, и о болезни забывалось до нового приступа. Так уж всегда бывает в торговле: у людей смерть за плечами, а они все торгуют, некогда полечиться.

Во время одного из приступов г-н Руссо отвел врача подальше от больной и попросил сказать всю правду: опасно ли больна его жена? Врач пытался отделаться избитыми фразами: надо надеяться на природу, бывают, случаи, когда и более тяжелые больные выздоравливают, но муж настаивал, и в конце концов доктор вынужден был сознаться, что у г-жи Руссо чахотка, и уже в довольно сильной степени. Руссо побледнел. Он любил Адель. Любил не только как жену, но и как надежного, верного товарища, с которым он вместе прошел трудный путь к богатству. Утрата была бы ударом не только для его души, но и для торговли. Однако слезами беде не поможешь. Не закрывать же из-за этого лавку. И вот, чтобы не напугать жену своим расстроенным видом, он скрывал горе, и все шло по-прежнему. А через месяц, вспомнив о словах врача, он решил, что все доктора ошибаются: жене ничуть не хуже. Но вскоре г-н Руссо стал замечать, что она умирает медленной смертью. Теперь он ясно видел — катастрофа неизбежна, хотя, думая о ней, старался отодвинуть ее в бесконечно далекое будущее. К тому же и торговые дела совсем поглощали его, некогда было предаваться горю. Адель часто говорила:

— Вот увидишь, я совсем поправлюсь, когда мы переедем в деревню!.. Господи! Ведь осталось ждать всего только восемь лет. И не заметишь, как они пролетят!

Господину Руссо даже в голову не приходило, что стоит лишь немного поступиться деньгами, и они теперь же смогли бы уехать в деревню. Да и сама Адель, конечно, не захотела бы этого. Прежде всего надо скопить намеченную сумму.

А между тем г-жа Руссо уже дважды была вынуждена слечь в постель. Но как только ей становилось полегче, она вставала и спускалась в лавку. «Ну, эта худышка недолго протянет», — толковали о ней соседи. Так оно и вышло. Г-жа Руссо слегла в третий раз, и, как нарочно, во время учета товаров. Пришел врач, побеседовал с больной и рассеянно прописал какое-то лекарство. Г-н Руссо был предупрежден; он знал, что конец уже близок. Но учет требовал, чтобы хозяин постоянно был в лавке; лишь с большим трудом ему удавалось иногда урвать от торговли несколько минут. Он заходил к больной только во время визитов врача да на минутку заглядывал к ней перед завтраком. Спал он в кабинете, где велел поставить складную кровать, и ложился рано — в одиннадцать часов. За больной ухаживала служанка Франсуаза — ужасное существо: неповоротливая, грубоватая и не очень-то опрятная овернка с огромными ручищами; она двигалась неуклюже, и той дело толкала больную. Подавая

лекарство, угрюмо глядела исподлобья, а подметая полы, производила невообразимый шум. В комнате всегда был беспорядок: на комодѣ стояли липкие пузырьки из-под лекарства; тазы Франсуаза никогда как следует не мыла; на спинках стульев висели грязные тряпки, а на полу накопилось столько сору, что неприятно было ходить по нему. Но г-жа Руссо не жаловалась, — ведь у Франсуазы было столько работы: кроме ухода за хозяйкой, она прибирала лавку, стряпала для хозяина и приказчиков, бегала по поручениям, не говоря уж о разных непредвиденных делах. Хозяйка не могла требовать, чтобы служанка была при ней. Когда у Франсуазы было свободное время, она ухаживала за больной.

Даже на смертном одре Адель больше всего заботилась о торговле. Она с тревогой следила за сбытом и каждый вечер подробно расспрашивала о выручке. Как только мужу удавалось зайти к ней на несколько минут, Адель, вместо того чтобы рассказать о том, как она чувствует себя, спешила узнать мнение мужа о возможных барышах. Как она огорчилась, узнав, что в этом году доход на тысячу четыреста франков меньше прошлогоднего. И даже когда вся она горела в жару и уже не могла поднять головы с подушек, она вспоминала о заказах, полученных на прошлой неделе, проверяла счета, управляла хозяйством. Если муж засиживался в ее комнате дольше обычного, она гнала его. К чему зря сидеть? Ее все равно не исцелить, а торговля пострадает; она была уверена, что без хозяина приказчики проворонят многих покупателей.

— Иди, мой друг, иди. Право, мне ничего не нужно. Да смотри не забудь запастись тетрадами. У нас их совсем нет, а ведь скоро начало учебного года.

Долгое время она заблуждалась, не знала, что близится конец. Ей все казалось: вот завтра она встанет и вновь сядет за кассу. Строила даже планы, мечтала, что скоро ей позволят выходить на улицу и она поедет с мужем на все воскресенье в Сен-Клу. Никогда еще так сильно не хотелось ей посмотреть на деревья. И вдруг однажды утром ей стало особенно тяжело. В бессонную ночь она ясно поняла, что скоро умрет. Весь день она лежала молча, глядя в потолок, и думала. А вечером, взяв мужа за руку, спокойно, будто предлагая ему проверить счет, сказала:

— Сходи завтра за нотариусом. Я видела вывеску — один нотариус живет недалеко от нас, на улице Сен-Лазар.

— Но для чего нам нотариус? Он совсем не нужен! — воскликнул г-н Руссо.

— Может быть, и не нужен, — спокойно ответила она. — Но мне станет легче на душе, когда я буду знать, что наши дела в порядке... Ведь когда мы женились, наше с тобой имущество было общее, но тогда ни у меня, ни у тебя не было ни гроша. А теперь мы кое-что скопили, и я вовсе не желаю, чтобы мои родственнички обобрали тебя. Не хочу, чтобы хоть что-нибудь досталось моей любезной сестрице Агате! Лучше уж все взять с собой в могилу.

В конце концов ей удалось убедить мужа, и на следующий день пришел нотариус. Г-жа Руссо долго беседовала с ним; она хотела, чтобы все было предусмотрено, не осталось бы ни одного спорного вопроса. Когда завещание составили и нотариус ушел, она облегченно вытянулась и сказала слабым голосом:

— Теперь я умру спокойно... Мне, конечно, очень хотелось бы поехать в деревню, и очень грустно, что я так и не увижу ее. Но ничего... ведь ты-то поедешь! Обещай, что поедешь и будешь жить в той деревушке возле Милона, где родилась твоя мать. Ведь мы с тобой решили купить там домик.

Господин Руссо горько плакал, а она утешала его, давала советы, как ему жить после ее смерти. «Если будет уж очень тоскливо, — говорила она, — женись, только не на молоденькой. Молодая выйдет за пожилого вдовца ради денег». И она даже указывала на одну из знакомых, говорила, что была бы рада, если бы он женился на ней.

В ту же ночь началась ужасная агония. Адель задыхалась, шептала: «Воздуха!.. Окно откройте!..» Г-н Руссо стоял у изголовья постели. Он ничем не мог помочь умирающей, только держал ее за руку, чтобы она чувствовала, что он здесь, рядом с ней. Утром она вдруг как-то сразу успокоилась и лежала совсем тихо, с закрытыми глазами; только лицо у нее было восковое и дыхание стало медленным. Муж, думая, что ей легче, решился оставить ее на

минуту, чтобы пойти с Франсуазой отпереть лавку. Когда он возвратился, Адель лежала все в том же положении и все такая же бледная, только глаза ее теперь были широко раскрыты. Она умерла.

Господин Руссо не плакал, он давно уж предвидел эту утрату. Просто он был совсем разбит от усталости. Он опять опустился в лавку — присмотреть, как Франсуаза закрывает ставни, потом сам написал на листке бумаги: *«Закрывается по случаю смерти»* — и четырьмя облатками приклеил листок к среднему ставню.

Наверху, в комнате покойной, все утро шла уборка. Франсуаза вымыла пол, убрала пузырьки и поставила на столике возле умершей зажженную свечу и чашку со святой водой. Ждали Агату, а ведь у этой ехидны прямо-таки змеиный язык, и Франсуаза вовсе не желала прослыть неряхой. Г-н Руссо послал приказчика выполнить необходимые формальности, сам же отправился в церковь и долго торговался там из-за стоимости похорон. Он торговался отнюдь не из жадности или боязни, что его обманут. Просто он очень любил жену и знал, что ей приятно было бы послушать, как он спорит из-за каждого гроша со священниками и агентом бюро похоронных процессий. Но в то же время ему хотелось устроить вполне приличные похороны, чтобы никто в квартале не мог упрекнуть его. Наконец он согласился заплатить сто шестьдесят франков церкви и триста — похоронному бюро, и тут же прикинул, что, включая разные мелкие расходы, похороны обойдутся ему не меньше чем в пятьсот франков.

Дома г-н Руссо застал приехавшую свояченицу Агату, которая сидела возле покойницы. Агата — долговязая, тощая особа с красными глазками и тонкими лиловыми губами. Супруги Руссо были с ней в ссоре и не виделись со своей родственницей уже три года. Она торжественно поднялась навстречу шурина и обняла его. Перед лицом смерти всякая вражда исчезает. Утром г-н Руссо не мог плакать, но теперь, увидев на постели окоченевшее тело в белом саване, восковое лицо с заострившимся носом, он едва узнал в этой покойнице свою жену и начал рыдать. У Агаты глаза были совсем сухие. Она уселась в самое удобное кресло и медленно обводила взглядом комнату, будто составляла точную опись находящихся в ней вещей. Она еще ничего не спросила о наследстве, но чувствовалось, что этот вопрос очень занимает ее и ей хочется узнать, есть ли завещание.

В день похорон, когда покойницу хотели положить в гроб, оказалось, что он короток, — похоронное бюро ошиблось и прислало не тот гроб. Пришлось ждать, пока принесут другой. А дроги уже стояли у подъезда. Жители квартала, ожидавшие на улице выноса тела, волновались. Новая пытка для г-на Руссо. И за что! Ну если бы это могло воскресить его жену! Наконец несчастную г-жу Руссо вынесли и поставили гроб внизу, в обтянутых черной тканью дверях, но всего лишь на каких-нибудь десять минут, на улице уже собралось человек сто — торговцы из их квартала, жильцы дома, друзья, несколько рабочих в потертых пальто. Процессия тронулась. Первым за гробом шел г-н Руссо. Кумушки-торговки торопливо крестились, когда мимо них проходила процессия, и перешептывались: «Кто это умер? Хозяйка писчебумажной лавки? Ну что ж, она уже давно чахла, вся высохла — кости да кожа. — Умерла, и слава богу! В земле-то ей будет куда лучше! — Вот и все мы так, торговцы! Работаем, работаем изо всех сил, чтобы хоть на старости лет пожить в свое удовольствие! А оно вон как обернется — получай свое!»

И, глядя на вдовца, который одиноко шел за гробом, бледный, с обнаженной головой и развевающимися по ветру волосами, все находили, что он прекрасный человек.

Церковную службу совершали кое-как, наспех; через сорок минут священники закончили свое дело. Агата сидела в первом ряду скамей с таким видом, словно пересчитывала горящие свечи. Очевидно, она думала о том, что шурина незачем было так транжирить деньги: ведь, если завещания нет, сестра наследует половину состояния, значит ей тоже придется платить за все это. Но вот священник прочел последнюю молитву. Провожающие окропили тело святой водой, и все двинулись к выходу. Почти все разошлись, за гробом шли теперь только г-н Руссо, по-прежнему с обнаженной головой, да десятка три самых близких друзей, которые не решались скрыться. Для дам наняты были три траурных кареты. Дроги покрыла простая черная ткань с белой бахромой. При виде их встречные обнажали головы и шли своей

дорогой.

У г-на Руссо не имелось фамильного склепа; он просто арендовал на пять лет участок на Монмартрском кладбище, решив, что купит впоследствии участок и перенесет туда прах жены, чтобы она мирно почивала там, как в собственном доме.

Дроги остановились в конце аллеи, гроб подняли, понесли на руках среди низких могильных холмиков и поставили у ямы, вырытой в сырой земле. Провожающие в молчании опустили на колени. Священник пробормотал несколько латинских слов и ушел. Повсюду, словно маленькие садики, зеленели могилы, обнесенные оградой, за решетками росли деревья и цветы; надгробные плиты, лежавшие среди зелени, казались новенькими и белоснежными. Г-на Руссо привел в восхищение один из памятников — тонкая, стройная колонна, увенчанная символической урной. Утром к нему уже приходил подрядчик, мучил его своими планами. И вот теперь г-н Руссо мечтал о том, как он купит на кладбище собственный участок и непременно поставит на могиле жены точно такую же колонну, с такой же красивой урной.

Но тут Агата увела его с кладбища, и когда они пришли в лавку, она решила, наконец, завести разговор о наследстве. Услышав, что покойница сделала завещание, она вскочила со стула и ушла, хлопнув дверью: никогда больше ноги ее не будет в этой лавчонке!

Господин Руссо тяжело переживал смерть жены; порой он страшно тосковал. Но больше всего терзала его и доводила чуть ли не до потери рассудка необходимость на один день в неделю закрывать магазин.

IV

В январе стояли морозы. А у Мориссо не было ни работы, ни хлеба, ни топлива. Нищета убивала их. Сам Мориссо был каменщиком, жена его — прачкой, они жили в Батиньоле, на улице Кардинэ — в большом доме, почерневшем от грязи и сырости; от его помоек распространялось зловоние по всему кварталу. Мориссо снимали комнату на шестом этаже, крыша над ней обветшала, и сквозь щели в потолке протекал дождь. Они бы еще, пожалуй, и не роптали на свою судьбу, не будь у них ребенка, десятилетнего Шарло, — его ведь надо было поить, кормить, вырастить.

Мальчик был такой слабенький, что заболел от малейшей простуды. Когда он еще ходил в школу, то достаточно было ему подольше засидеться за приготовлением уроков, и у него начиналась лихорадка, приходилось укладывать его в постель. Шарло был очень славный и не по годам смысленный мальчик. Родители любили его, и в те дни, когда им нечего было дать ему поесть, они обливались горькими слезами. Долго ли до беды; в их доме такая сырость, такой нездоровый воздух, дети у жильцов мрут как мухи.

На улицах скалывали лед. Удалось наняться на эту работу и каменщику Мориссо. Чтобы принести вечером домой несколько су, он по целым дням разбивал в канавах лед ударами кирки. Но все же это лучше, чем умирать с голоду в ожидании настоящей работы.

Вернувшись однажды домой, отец застал Шарло в постели. Мать не знала, что с ним. Она послала его в Курсель к тетке, старьевщице, думая, что та подарит мальчику какую-нибудь куртку, а то он мерзнет в холщовой блузе. Но у тетки не нашлось ничего, кроме старых мужских пальто слишком большого размера. Малыш вернулся домой, дрожа и шатаясь, как пьяный, и вот теперь он лежит красный от жара и болтает всякую чепуху: то ему кажется, что он играет в шары, то вдруг принимается петь.

Мать завесила разбитое окно изорванной шалью, чтобы не дуло из него; тусклый свет сумеречно проникал в комнату только через два верхних стекла. Нужда совсем опустошила их жилище; в комодке было пусто — все белье давно снесли в ломбард; стол и два стула продали. До болезни Шарло спал на полу, теперь ему отдали единственную кровать, а отец с матерью устроились в углу на соломенном тюфяке, которым побрезгала бы и собака. Но и на кровати ребенку не очень-то удобно — почти весь волос из тюфяка отнесли по горстям к старьевщику и продали по четыре су за каждые полфунта.

Шарло метался в постели. Отец и мать смотрели на него со страхом. Что же это такое с

их малышом? Уж не укусила ли его бешеная собака? А может быть, опоили его чем-нибудь? Как раз в это время вошла соседка, г-жа Бонне. Взглянув на ребенка, она с уверенностью сказала, что у него горячка. Ей ли не знать — от этой болезни умер ее муж.

Мать плакала, прижимая Шарло к груди. Обезумевший от горя отец вскочил и побежал за врачом. И он привел врача, очень высокого и строгого господина. Врач молча выстукивал, выслушивал больного, потом попросил карандаш и бумагу и, выписав рецепт, все так же молча пошел к выходу.

— Сударь, что с ним? — сдавленным голосом спрашивала мать.

— Плеврит, — кратко ответил врач, потом в свою очередь спросил: — Вы записаны в благотворительном комитете?

— Нет, сударь... Летом мы жили еще прилично. Это вот зима нас доконала.

— Очень жаль, очень жаль, — проворчал врач и пообещал зайти еще раз. На лекарство пришлось занять двадцать су у г-жи Бонне, так как деньги, принесенные Мориссо, уже истратили на уголь, свечи и кусочек мяса. Первая ночь прошла благополучно. В печке все время поддерживали огонь. Ребенок совсем обессилел. Ручонки у него горели. Сильный жар словно усыпил его. И родители, видя, что он притих, успокоились. А на другой день — снова тревога. Врач качал головой, и на лице у него было выражение полной безнадежности.

Прошло пять дней. Больному не стало лучше. Он все время спал. Нужда стала еще заметней, она словно врывается вместе с ветром через все щели в окне и в крыше. Уже на второй день болезни мать продала свою последнюю рубашку; на третий день, чтобы заплатить за лекарство, пришлось вытащить еще несколько горстей волоса из тюфяка. И вот продавать уже нечего.

Мориссо продолжал скалывать лед, но платили ему так мало — сорок су в день. А с оттепелью он потерял и этот жалкий заработок. Однако оттепель нужна для Шарло; мороз ему вреден. И вот в душе отца происходила борьба. Принимаясь за работу, он радовался морозу и белым от снега улицам, но тут же, вспомнив о своем малыше, умирающем в мансарде, начинал страстно желать, чтобы поскорее пришла весна и жаркое солнце растопило бы весь снег. Если бы они хоть были записаны в комитет помощи, благодетели бесплатно присылали бы врача и лекарства. Мать ходила в мэрию, но там ей сказали, что надо подождать, слишком много просителей. Все-таки ей удалось получить несколько талонов на хлеб, а какая-то сердобольная дама дала ей пять франков. Но деньги уже все вышли, и в семье снова нищета.

На пятый день Мориссо в последний раз принес домой сорок су. Началась оттепель, и его рассчитали. И тогда все сразу кончилось: хлеба нет, печь холодная, за лекарствами больше не ходили. Мать и отец сидели в холодной, сырой комнате возле хрипевшего ребенка. Г-жа Бонне больше не заглядывала; она оказалась очень чувствительной, и ей было слишком тяжело видеть все это. Все соседи, проходя мимо их двери, ускоряли шаг. Иногда мать бросалась к постели ребенка и испуленно целовала его, словно пытаясь исцелить его своими поцелуями. Отец, отупевший от горя, часами простаивал у окна и, приподняв изодранную шаль, смотрел, как текут ручейки от тающего снега, падают с крыш тяжелые капли воды, оставляя на земле темные пятна. Отец думал: «Может быть, Шарло будет теперь полегче!»

Однажды утром врач сказал, что больше не придет: больной безнадежен.

— Его убила сырость.

Мориссо грозил небу кулаками. Бедняков убивает всякая погода: был мороз — плохо, а теперь вот оттепель — и еще того хуже стало. Если бы не упрямство жены, они уж давно бы разом покончили со всем этим, все втроем убрались бы из этой проклятой жизни. Стоило только сжечь мерку угля и напустить угару.

Мать еще раз ходила в мэрию, и ей обещали прислать пособие. И вот теперь они сидят и ждут. Ужасный день! С потолка несет холодом, в углу протекает, пришлось подставить ведро. Со вчерашнего дня ничего не ели, а мальчик выпил только чашку какого-то отвара, который им принесла привратница. Отец сидел у стола, сжав голову руками; он совсем отупел, в ушах у него все время шумело. Заслышав чьи-нибудь шаги в коридоре, мать каждый раз подбегала к двери, думая, что несут обещанное пособие. Прошло шесть часов, а его все не несли.

Надвигались сумерки, мрачные и мучительные, как агония.

И вдруг, когда уже совсем стемнело, послышался прерывистый лепет Шарло:

— Мама... мама...

Мать подбежала. Ее лица коснулась струя глубокого выдоха, и все стихло. Она едва различала в темноте запрокинутую голову и напряженную шею ребенка.

— Скорей света!.. Огня! Скорей огня!.. — отчаянно и умоляюще закричала она. — Шарло! Скажи хоть словечко!

Она чиркала спичку за спичкой, но все они ломались в ее пальцах. Потом трясущимися руками ощупала лицо своего сына.

— Умер! Господи! Мориссо, ты слышишь? Он умер!

— Умер? Ну да, умер... Ну что же, так лучше.

Услыхав рыдания матери, г-жа Бонне решила, наконец, зайти к ним со своей лампой. И вот, когда женщины укладывали на постели холодное маленькое тельце, в дверь постучались: принесли долгожданное пособие — десять франков деньгами и талоны на хлеб и мясо.

Мориссо зло рассмеялся и сказал:

— Опоздали. Благотворители, как поезд, всегда опаздывают.

А каким жалким был маленький, легкий, словно перышко, трупик исхудавшего ребенка! Он занимал на матраце очень мало места. Кажется, положи вместо него подобранного на улице замерзшего воробушка — он столько же занял бы места.

Между тем к г-же Бонне вновь вернулась вся ее любезность. Она заявила, что Шарло ничуть не потревожит, если родители позавтракают рядом с ним, и вызвалась сходить за хлебом и мясом; обещала принести и свечу. Мориссо согласился. А когда соседка вернулась и поставила на стол горячие сосиски, изголодавшиеся люди набросились на них и ели с жадностью, сидя почти рядом с покойником, маленькое личико которого белело в полумраке. Потрескивали дрова в печке. В комнате стало тепло и уютно. Глаза матери то и дело наполнялись слезами; слезы крупными каплями падали на хлеб. Как бы хорошо было сейчас их мальчику! С каким удовольствием он поел бы сосисок!

А г-жа Бонне старалась изо всех сил. Около часу ночи Мориссо заснул, положив голову на постель, в ногах Шарло, а женщины варили кофе. На кофе пригласили еще одну соседку, восемнадцатилетнюю швею, которая принесла с собой немного водки на доньшке бутылки. Три женщины отхлебывали маленькими глотками кофе и вполголоса беседовали — рассказывали друг другу всякие необычайные случаи смерти. Мало-помалу голоса их зазвучали громче, а круг затрагиваемых тем становился все шире. Они уже судачили обо всем: о том, что творилось в их доме, в их квартале, о преступлении на улице Ноллет. Время от времени мать вставала и подходила взглянуть на Шарло, словно желая еще раз убедиться, что он недвижим.

На следующий день нельзя было похоронить Шарло, так как накануне вечером не сделали в полицию заявления о его смерти, поэтому весь следующий день родители провели в комнате, где лежал мертвый Шарло, ведь у них была только одна комната. Они спали, ели, пили возле него. Порой они даже как будто забывали, что он умер, а вспомнив, еще и еще раз переживали свою утрату.

На второй день принесли, наконец, гробик, бесплатно выданный благотворительным комитетом, — из четырех плохо выструганных досок, размером не больше ящика для игрушек. Шарло уложили в этот ящик — и в путь!

За похоронными дрогами первым шел отец с двумя повстречавшимися дорогой товарищами, за ними — мать, г-жа Бонне и другая соседка, швея.

Шли чуть не по колено в грязи; и хотя дождя не было, все промокли — так густ был туман. Спеша поскорее добраться до церкви, маленькая процессия почти бежала. В церкви покойника наскоро отпели, и все снова побежали по грязной мостовой.

Кладбище было где-то у черта на куличках; чтобы добраться до него надо было пройти весь проспект Сент-Уэна и заставу. Но вот, наконец, и кладбище. Большой пустырь,

обнесенный белой стеной. Он весь зарос чахлой травой, то тут, то там выпячивались горбами могилы, только в самом конце кладбища росло несколько тощих деревьев, переплетая в небе черные голые ветки.

Погребальное шествие двигалось медленно, увязая в грязи. А тут еще пошел проливной дождь, пришлось мокнуть под открытым небом, дожидаясь старика священника, который никак не решался выйти из часовни.

Шарло полагалось спать в общей могиле.

По всему кладбищу валялись поваленные ветром кресты, мокрые, сгнившие венки. Тут была подлинная юдоль скорби и нищеты — истоптанная, голая земля, где хоронили людей, убитых голодом и холодом.

Но вот все кончено. Шарло опустили в яму, могилу засыпали, и родители ушли; они не могли даже постоять перед могилой на коленях, так как вокруг все затопила жидкая грязь.

Когда вышли за кладбищенские ворота, Мориссо, у которого еще осталось три франка из десяти, присланных благотворительным комитетом, пригласил товарищей и соседей зайти по случаю дождя в винный погребок выпить чего-нибудь. Предложение было принято; все зашли, уселись за столики и выпили два литра вина, закусывая дешевым сыром. Затем товарищи каменщика купили еще два литра. И в Париж возвратились уже сильно навеселе.

V

Жан-Луи Лакуру уже исполнилось семьдесят лет. Он родился в деревушке Ла-Куртей, затерявшейся в лесной глуши и насчитывавшей всего полтора десятка жителей. Здесь он прожил всю жизнь; лишь единственный раз побывал в Анжере, — город был в пятнадцати лье. Но ездил он туда давно, еще в ранней молодости, и теперь он ничего уж и не помнил об этом. У старика было трое детей: два сына — Антуан и Жозеф, и дочь Катрина. Дочь выдали замуж, но она овдовела и с двенадцатилетним сыном Жакине вернулась к отцу. У семьи было пять или шесть арпанов земли — как раз столько, чтобы не умереть с голоду и не ходить нагишом. Каждый кусок хлеба и стакан вина доставался им тяжким трудом. Деревня Ла-Куртей раскинулась в небольшой долине, и со всех сторон ее окружали густые леса. Деревня была бедная, и в ней не построили даже церкви; служить по праздникам обедню приезжал священник из Кормье; а так как от Кормье до деревни добрых два лье, то обедня бывала не чаще двух раз в месяц. Деревенские дома — десятка два ветхих лачуг — разбросаны были вдоль дороги. У ворот рылись в навозе куры. Женщины при виде чужого человека вытягивали шеи и долго смотрели ему вслед, а ребяташки, валявшиеся на солнцепеке, спасались бегством вместе со стадом встревоженных гусей.

За всю свою долгую жизнь Жан-Луи ни разу не хворал. Старик был высок ростом и кряжист, как дуб. От загара его морщинистое лицо потемнело, кожа стала похожа на древесную кору, и весь он благодаря солнцу приобрел крепость и спокойствие дерева. Состарившись, он потерял охоту говорить, очевидно считая это бесполезным, и почти всегда молчал. Ходил он грузной и медленной поступью, и в ней чувствовалась неторопливая и спокойная бычья сила.

Еще в прошлом году он был сильнее своих сыновей и всегда выбирал для себя самую тяжелую работу; молча трудился на своем поле, которое, казалось, знало его и покорно ему повиновалось. Но однажды, месяца два тому назад, у него вдруг подкосились ноги, он упал поперек борозды, как срубленное дерево, и два часа пролежал неподвижно. На другой день встал, хотел приняться за работу — руки и ноги не слушались его; но, несмотря на все уговоры детей, он настоял на своем и отправился в поле. С ним послали Жакине, чтобы мальчик позвал на помощь, если дед упадет.

— Ну что тебе тут надо, лентяй ты этакий? — ворчал Жан-Луи на внука. — В твои годы я уже сам зарабатывал свой хлеб.

— А я, дедушка, тебя стерегу, — ответил мальчуган.

Старик вздрогнул при этих словах и умолк. Вечером он лег в постель и больше уже не

вставал. Утром, собравшись в поле, сыновья и дочь подошли взглянуть, что с отцом, почему его совсем не слышать, и увидели, что он лежит вытянувшись на спине, с открытыми глазами, будто размышляет о чем-то. По его лицу нельзя было понять, здоров он или болен, так оно загорело и огрубело от солнца.

— Ну что, отец? Плохо твое дело?

Старик что-то проворчал и кивнул головой.

— Без тебя, что ли, в поле идти?

Да, кивал старик, пусть идут без него. Ведь сейчас каждая минута дорога, началась жатва. Потеряешь утро, а там, гляди, налетит буря с грозой — и размечет копны. Все ушли из дому, даже Жакине. Старик остался один. Вернувшись вечером, дети увидели, что он все так же лежит на спине, с открытыми глазами, и лицо у него какое-то задумчивое.

— Ну что, отец, полегчало тебе?

— Нет, не полегчало, — пробормотал старик.

Чем бы ему помочь? Катрина предложила сделать винный отвар с травами. Но это слишком сильное средство, оно может и убить старика. Жозеф сказал, что утром будет видней, и все легли спать.

Наутро, перед уходом в поле, дети подошли на минутку к отцу. Да, старик и впрямь болен. Никогда еще не лежал он вот так, как сейчас, вытянувшись неподвижно. Доктора бы надо. Да вот беда — далеко ехать за ним, в Ружмон. Туда шесть лье да оттуда шесть — двенадцать лье. Целый день пройдет. Старик, который прислушивался к разговору, начал метаться — он разгневался: на что ему доктора? Толку от них никакого, а деньги плати.

— Не хочешь? — спросил Антуан. — Что ж, тогда мы пойдем в поле.

— Понятно, идти надо. Не со мной же тут сидеть, все равно этим не поможешь. Земле вы нужней, чем мне, — говорил отец.

Прошло три дня. Каждое утро дети уходили в поле, и старик оставался один. Он лежал неподвижно, и только когда ему хотелось пить, он протягивал руку за кружкой с водой и думал: «Теперь я как старая лошадь — надорвется она на работе, упадет где-нибудь в углу и умирает, всеми забытая. Работал целых шестьдесят лет, а теперь уж ни на что не годен, зря только занимаю место да стесняю детей. Самое лучшее умереть поскорее».

Дети не очень горевали. Земля приучила их к спокойствию. Они слишком были близки к земле. Жаль, что лишатся они своего друга, но что поделаешь, да и некогда к тому же горевать. Минутку утром да минутку вечером — больше они никак не могли уделять отцу. Если бы он вдруг поправился и встал — значит он еще крепок; ну а если умрет — значит пришло ему время помирать. Каждый знает — против смерти не пойдешь; раз она поселилась в человеке, ничем ее не выживешь — ни молитвой, ни лекарствами. Вот корова — та другое дело, ее и вылечить можно.

По вечерам Жан-Луи глазами спрашивал детей, как идет уборка урожая. И когда они пересчитывали, сколько нажали снопов, и хвалили хорошую погоду, его глаза светились радостью. Как-то раз дети опять заговорили о враче. Но старика это привело в такое волнение, что они побоялись, как бы это не ускорило его смерти, и оставили отца в покое. Жан-Луи попросил позвать к нему старого его приятеля, полевого сторожа, папашу Николя. Папаша Николя был старше Жан-Луи, в сретенье ему исполнилось семьдесят пять лет. Но он все еще держался прямо, как тополь. Он пришел и с серьезным лицом сел у постели больного, Жан-Луи не мог говорить, только смотрел мутными глазами на своего друга. Старик Николя тоже молчал. И так, не произнося ни слова, они просидели вместе целый час, довольные уж тем, что видят друг друга; оба молча вспоминали далекие дни молодости. А когда дети вернулись в этот вечер с поля, то увидели, что отец лежит окоченевший, с широко раскрытыми глазами: он умер.

Старик отошел тихо, не застонал, не пошевелился. Последний вздох его улетел и растворился в вольном воздухе полей. Он никого не потревожил своей смертью — сам, как умел, справился с последним своим часом. Так умирают животные: они забиваются перед смертью куда-нибудь подальше ото всего живого и умирают.

Первым подошел к покойному Жозеф.

— А отец-то помер, — сказал он, обернувшись к остальным.

— Помер отец, — повторили вслед за ним Антуан, Катрина и Жакине. Их ничуть не удивила эта смерть. Жакине, вытянув шею, с любопытством рассматривал издали мертвого деда. Дочь плакала тихонько, вытирая глаза косынкой; сыновья молча шагали по комнате, загорелые их лица побледнели.

— А все-таки порядком протянул наш старик. Крепок, знать, был!

Эта мысль утешала их, они гордились силой своего рода.

Ночью никто не выдержал позднее одиннадцати — все заснуло; и Жан-Луи опять остался один. Он спал вечным сном, и на его лице застыло выражение глубокого раздумья.

Чуть свет Жозеф отправился в Кормье за священником. Антуан и Катрина, оставив Жакине у тела умершего, ушли в поле, — ведь уборка еще была не закончена. Но мальчугану стало скучно сидеть одному около бездыханного деда, и он то и дело выбегал на дорогу — бросал камнями в воробьев, смотрел на бродячего торговца-коробейника, который расхваливал соседкам свои цветные платки. Вспомнив о старике, Жакине спешил домой, но, убедившись, что дед лежит все так же неподвижно, снова убежал — посмотреть, как дерутся собаки.

А в это время в открытую дверь забрели куры и преспокойно разгуливали по комнате, разрывая лапками и клювом утопанный земляной пол. Огненно-рыжий петух заметил неподвижное тело и встревожился. Петух был осторожный и опытный, он прекрасно знал, что у старика никогда не было привычки лежать в постели после восхода солнца. Вытянув шею и округлив блестящие глаза, петух издал свой звонкий клич, он возвестил смерть старика; и куры с кудахтаньем, поклевывая земляной пол, одна за другой вышли из комнаты.

Священника ждали к пяти часам. Из сарая тележника, который сколачивал гроб, уже с утра доносились визг пилы и стук молотка. Жителям Ла-Куртей хорошо были знакомы эти звуки, и, заслышав их, все, кто еще не знал о смерти старика, говорили: «Слышь-ка, Жан-Луи-то помер».

Антуан и Катрина вернулись с поля. Нельзя сказать, чтобы им было очень уж грустно, — ведь такого урожая, как в этом году, не было, пожалуй, уже лет десять.

Вся семья ждала священника, и, чтобы скоротать время, все что-нибудь делали: Катрина варила суп, Жозеф пошел за водой, Жакине послали посмотреть, вырыта ли могила. Священник приехал только в шесть часов. Вместе с ним на повозке сидел мальчик — церковный служка. Остановив лошадь возле дома Лакуров, священник слез, вынул из повозки завернутые в газету епитрахиль и стихарь и, облачаясь на ходу, сказал:

— Поспешим, дети мои, в семь мне надо уехать.

Никто, однако, не торопился. Сходили за двумя соседями, которые должны были нести гроб на старых, почерневших от времени носилках. А когда соседи явились и все уже собрались тронуться в путь, прибежал Жакине с криком, что могила еще не готова, но идти все-таки можно.

Первым, читая по книге латинские молитвы, шел священник; за ним маленький служка нес помятую медную чашу со святой водой и кропильницу. Когда проходили мимо сарая, где обычно дважды в месяц служили мессу, из него вышел и стал во главе процессии второй мальчик, который нес прикрепленный к концу палки крест. За гробом шла семья покойного; мало-помалу к ней присоединилась вся деревня, а позади всех бежали грязные, вихрастые и босоногие мальчишки.

Кладбище было на противоположном конце деревни, за околицей. Дорогой соседи, которые несли гроб, трижды останавливались, чтобы передохнуть. Они ставили носилки на землю и отдувались; процессия в это время тоже стояла. Потом все снова трогались в путь. Слышался стук деревянных башмаков по сухой земле. Когда пришли на кладбище, оказалось, что могила действительно еще не готова; голова могильщика то появлялась, то исчезала над краями ямы — он выбрасывал лопатой землю.

У кладбищенской ограды — простого плетня — буйно разрослась ежевика; в сентябре

ребятишки бегали сюда по вечерам полакомиться спелыми ягодами. Кладбище казалось настоящим садом в открытом поле. В глубине его зеленели огромные кусты смородины, а в одном углу росла груша, высокая и ветвистая, как дуб. Посредине была небольшая липовая аллея, летом старики любили посидеть тут в тени и выкурить трубочку. Солнце пылало. В траве стрекотали кузнечики; в знойном воздухе с жужжанием носились пчелы. Тишина этого сада вся была пронизана трепетом жизни, а соками этой тучной земли налились алые, как кровь, лепестки маков.

Гроб опустили возле могилы. Мальчик воткнул крест в землю в ногах покойника, а в головах стоял священник, читая по-латыни. Но присутствующих больше всего занимала работа могильщика. Они окружили могилу и с интересом следили за его движениями. А когда все возвратились к покойнику, оказалось, что священник со служками уже ушли и возле гроба стоит в терпеливом ожидании только семья покойного.

Наконец могила была готова.

— Хватит! Глубоко уже! — крикнул могильщику один из крестьян, несших тело, и все стали помогать сыновьям покойного опустить гроб в могилу.

Старику Лакуру будет здесь хорошо. Ведь он так любил землю, и она любила его. Шестьдесят лет прошло с того самого дня, когда он в первый раз тронул ее своей лопатой. Вот и встретились они снова. Их любовь с каждым годом все возрастала, а теперь земля навсегда взяла его к себе. Хорошо, спокойно будет тут почивать Жан-Луи! Ничьи шаги не потревожат его. Одни только легкие птичьи лапки будут касаться травы на его могиле. Смерть, озаренная солнечным сиянием, принесет ему вечный сон в мирном лоне полей.

Могилу засыпали. Все дети Жан-Луи — Катрина, Антуан, Жозеф, бросили в нее по горсти земли, а Жакине нарвал красных маков и положил их на могилу деда. Потом семья вернулась домой, и все сели ужинать. С полей гнали стада, солнце садилось. На деревню спускались сумерки теплой летней ночи, и все вокруг засыпало.

1882